

2009

**ROSSICA YOUNG
TRANSLATORS
PRIZE**

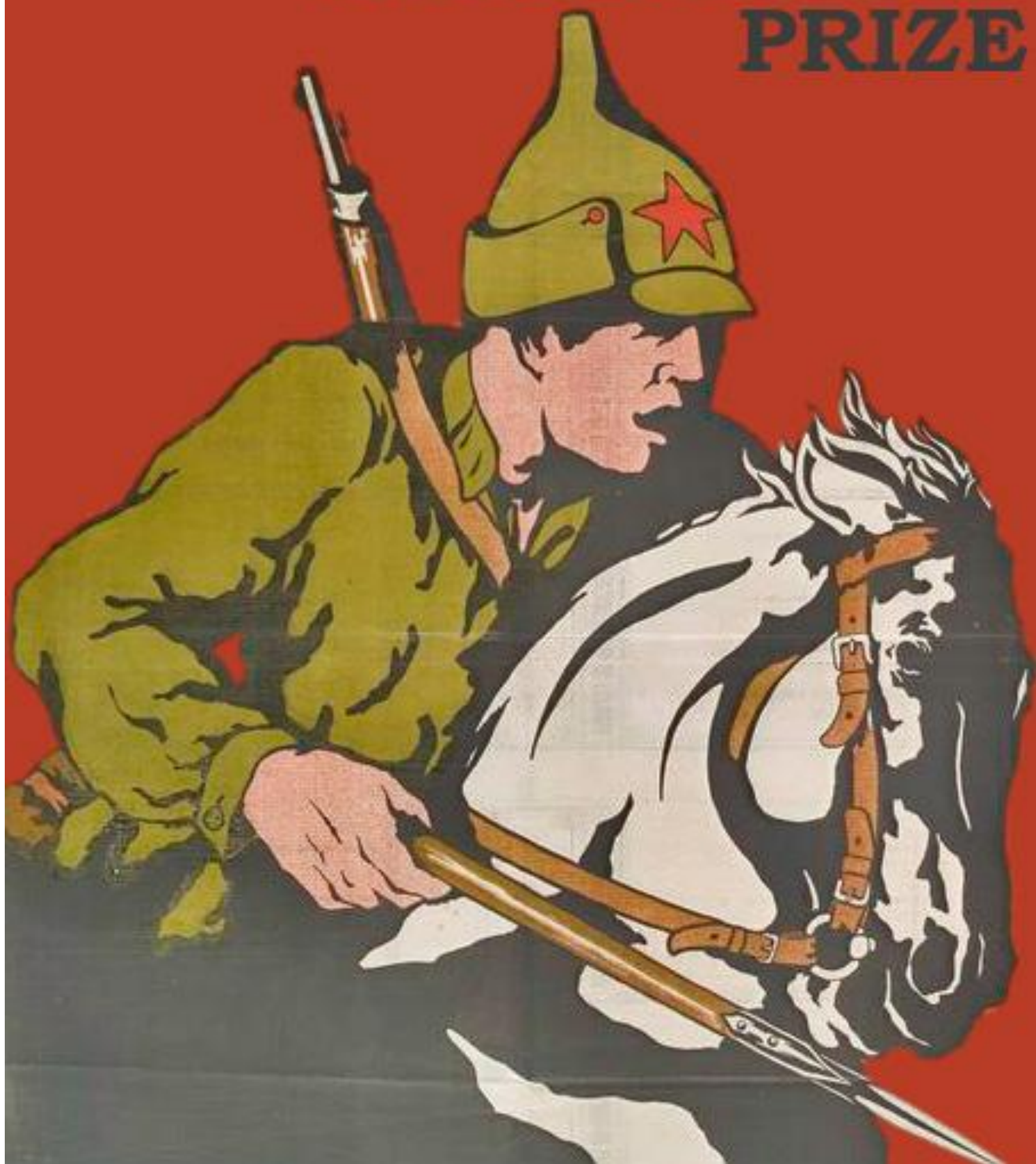


Table of Contents

Rossica Young Translators Prize: Rules and Regulations	p.3
---	-----

Author Profile: Dmitry Bykov	p.4
---	-----

TEXT 1 (Dmitry Bykov) Extract from <i>Списанные</i>	p.5
--	-----

Author Profile: Vladimir Makanin	p.11
---	------

TEXT 3 (Vladimir Makanin) Extract from <i>Асан</i>	p.12
---	------

Author Profile: Olga Slavnikova	p. 18
--	-------

Text 4 (Olga Slavnikova) Extract from <i>2017</i>	p. 19
--	-------

Rossica Young Translators Prize

2009: Rules & Regulations

- (i) All entries must reach Howard Amos at Academia Rossica on or before **Friday 10th April 2009**. Entries received after this deadline will not be sent to the judges.
- (ii) All candidates must be aged 24 or under on this day (10th April 2009) to be eligible to enter the competition.
- (iii) All translations must be of **one** of the three texts available on the Academia Rossica website. Translations of any other work will not be considered. The permitted texts are:

- Дмитрий Быков, *Списанные* (extract)
- Ольга Славникова, *2017* (extract)
- Владимир Маканин, *Асан* (extract)

- (iv) Entries may be submitted electronically (to howard@academia-rossica.org) or by post to:

Academia Rossica
76 Brewer Street
London W1F 9TX

- (v) Each entry must include:
 - The translator's name.
 - The translator's date of birth.
 - The educational institution to which the translator is attached (if any).
- (vi) Group translations are permitted. However, the name, date of birth and educational institution of every translator must be included with the submission.
- (vii) The short-list will be announced on the 21st April at the London Book Fair and the overall winner on the 24th May 2009. The winning translator will receive £300 and his/her translation will be published in a special edition of *Rossica*.



Дмитрий Быков

Dmitry Bykov was born in Moscow in 1967. He studied at the Faculty of Journalism at Moscow State University, and journalism is something he remains engaged with: he writes for the magazine 'Ogonek' and regularly produces articles, essays and reviews for the mass media.

Bykov's literary output is voluminous. He has published five novels, a biography of Pasternak (for which he won the 2007 'Big Booker' Prize), two collections of short stories, two volumes of essays and eight collections of poetry. He also has senior editorial positions in various publications, hosts a weekly radio show and appears regularly on Russian TV. His biography of Pasternak has been a critical and commercial success, enjoying three print runs. Bykov admitted that 'Boris Leonidovich [Pasternak] has completely renovated my dacha'.

Bykov's latest novel, 'Списанные' ('Spissanie') is the first of a grotesque fantasy trilogy. The protagonist, a young TV script writer, suddenly finds himself on a secret list which includes, in addition to him, 180 other Muscovites aged 16 to 60. Nobody knows who, or what, has put them on this list. Fear, humiliation, hopes, rumours and the ghosts of the noughties - all find their way into this novel, part-thriller, part-fable and part-political satire.

Provocative, flamboyant and with his fingers in dozens of pies, Dmitri Bykov revels in controversy and, though his literary versatility and verbal violence mark him out among contemporary Russian writers, he remains relatively unknown, and untranslated, in the West.

ТЕХТ 1 : *Списанные* (отрывок)

Поработать, однако, была не судьба. Не успел он сесть за комп, как заверещал мобильный.

-- Это коспотин Свиритов? – спросил немецкий женский голос, оглушая согласные столь карикатурно, что Свиридов тотчас решил: розыгрыш.

-- Коспотин, -- подтвердил он с усмешкой. – А вы есть кто?

-- Я Тэсса Гомбровиц, корреспондент «Мюнхенер Цайтунг». Коспотин Свиритов, гофорите ли вы по-английски?

-- A bit, -- сказал Свиридов.

-- Oh, great. So listen. – Дальнейшее Свиридов понял через пень-колоду – телефон, акцент, непривычка переводить со слуха, -- но Тэсса Гомбровиц с чего-то заинтересовалась его творчеством и желала сегодня же сделать с ним интервью, поскольку нужно любой ценой успеть в послезавтрашний номер. Она не допускала и мысли об отказе и желала уточнить только, готов ли он подъехать к ней в корпункт или желает принять ее у себя.

-- Но я на даче, -- попытался отвертеться Свиридов. – At my dacha.

-- Это не проблем, я подъеду. I have a car with a driver, please tell him how to rich...

-- Алё, -- тут же раздался в трубке густой мужской бас. – Как к вам подъехать, какое шоссе?

-- Не нужно, я уже собираюсь домой, -- сказал Свиридов, отступая перед этим напором. – Подъезжайте на Профсоюзную через три часа, -- и он назвал адрес.

Так, подумал он, все по сценарию. Поп свое, черт свое. С утра местные, к вечеру неместные. Шофер наверняка гебешник, и она наверняка в курсе. Общий сговор: она пишет для мюнхенер или как ее цайтунг, он выявляет тех, к кому она ездит, и берет на заметку. Все довольны. Но подыхать просто так было б обидно – пусть хоть Запад будет в курсе. Чем я, собственно, рискую? Официального запрета на общение с иностранными корреспондентами пока нет. Валяй, посмотрим, что за Тэсса.

Он снова собрался работать, вопреки всему, будет хоть пара страниц хоть за те три часа, что оставались до явления корреспондентки с гебешником, -- но мобильный вновь требовательно заверещал, и Свиридов опознал номер орликовской приемной. Это конец, понял он. Сейчас мы лишимся последнего.

-- Сергей Владимирович? – спросил педерастический голос секретаря. Орликов держал в секретарях исключительно педерастов – не потому, что сам принадлежал к стильной касте, а потому, что женщины не умели так подобоострастно отвечать

«Вячеслав Петрович занят» или «Как вас представить?». Секретарь работал у Орликова без выходных, жил у него в коттедже на правах прислуги и не брезговал садовыми работами. – Вячеслав Петрович хотел бы переговорить с вами. Вы свободны?

-- Да, конечно, -- бодро ответил Свиридов. В нем закипала здоровая злость. Это было лучшее состояние для разговоров с Орликовым.

-- Сереж, -- услышал он мягкий, начальственно-демократический басок Орликова. – Ну ты что ж делаешь.

-- Да, Вячеслав Петрович? – переспросил Свиридов. – Что я делаю?

-- Ну а то ты не знаешь? Ты куда же вступаешь? Меня и так за Делягина вчера вызывали на ковер, а тут ты.

-- А куда я вступаю, Вячеслав Петрович? – невинно спросил Свиридов.

-- Слушай, кончай! – разозлился Орликов. – Кончай притворство дурацкое. Мне ты знаешь откуда звонили сегодня? С канала мне звонили. И там уже плотно подводят к тому, что или ты, или программа.

-- Ну, если вопрос уже ставится так... -- протянул Свиридов.

-- Да пойми ты! – Орликов не мог легко выйти из образа демократа. – Мне же не хочется терять способного человека, я же не из тех, кто по первому сигналу...

-- Вячеслав Петрович, -- сказал Свиридов, со значением понижая голос. – Вы же понимаете, что такие вопросы по телефону не обговариваются.

-- Мой не прослушивается, -- ответил Орликов, но было слышно, что он насторожился.

-- Ну, это *ваш* не прослушивается, -- продолжал Свиридов. – Так что всего я вам сказать не могу, но вообще-то, зная меня не первый год, вы могли бы догадаться, с чьей санкции я в этом списке нахожусь.

Орликов помолчал.

-- Что ж они там, -- пробурчал он. – Предупредить не могут?

-- Вячеслав Петрович, -- укоризненно проговорил Свиридов. – Вы можете себе представить, с чьей санкции сценарист «Спецназа» может входить в такие списки?

-- Ты же вышел из «Спецназа», -- напомнил Орликов.

-- А вы не догадываетесь, почему?

-- Догадываюсь, -- буркнул Орликов, хотя ни о чем не догадывался.

-- Ну вот. И если я там состою и мне верят – вы же можете догадаться, зачем это нужно, да? Я надеюсь, мы не будем возвращаться к этому разговору?

-- Все-таки пусть они на канал позвонят, -- попросил Орликов после паузы. -- Там же не в курсе люди...

-- Ну да, -- сказал Свиридов. -- Сейчас Владислав Юрьевич бросит все и будет звонить руководству канала: простите, у вас там сценаристом на «Родненьких» работает некто Свиридов, так вот, он намеренно внедрен в список, это мой информатор, так всем и передайте. Интересно получится, да?

-- Да, действительно, -- признал Орликов. -- Ну, хоть бумагу какую-нибудь...

-- Да вы что, смеетесь?! -- с бабьим повизгиванием воскликнул Свиридов. -- Вы как себе это представляете?! Сталин Гитлеру пишет: вы там, пожалуйста, не обижайте моего человечка, Штирлиц зовут?

-- Ладно, работай, -- разрешил Орликов и отключился.

Некоторое время Свиридов приходил в себя. Только что он благодаря внезапному озарению отбил очередной наезд и спас заработок – неизвестно, надолго ли. Очевидно было одно – идиотизм происходящего. Оказывается, им можно было пользоваться. Это давало шанс. Все отработывали пьесу спустя рукава, радуясь первой возможности увильнуть от худших моментов роли. Товарищи, можно я сегодня не буду душить Дездемону? Вот справка, у меня гипертония. Хрен с тобой, не души, пнешь разок – сама перекинется. У нее, кстати, тоже гипертония. Лев со списком обходит всех зверей: антилопа, завтра ты ко мне на завтрак, капибара, ты жирная, будешь на обед, а ты, заяц, на легкий ужин, чтоб кошмары не мучили. Заяц: а можно не приходиться? Можно, вычеркиваю.

Правда, видимо, была в том, чтобы в списке вести себя нагло: я вписан не потому, что отвержен и проклят, а потому, что мне можно. Здесь вообще следовало вести себя так, будто все можно, -- потому что возникает обратная зависимость: действительно будет можно. Допускаю, что наглая тройка типа «Слава России» руководствовалась тем же принципом. Главный местный закон: у них действительно нет на тебя никакого зла, у них нет к тебе принципиальных претензий, если ты не слишком нарываешься, не грузин и не еврей. Следовательно, отношение к тебе они формируют не априори, а от поведения: если, будучи ввергнут в список, как все, ты ведешь себя по-хозяйски, как хозяин этого гетто, как свой в этом вонючем загоне, куда они по определению вытесняют всех, -- то ты и будешь хозяин, тебя сделают капо, дадут плетку с синей ручкой (у самих с красной, заслужить нельзя, выдается по праву рождения). Из этого следовали занятные ходы применительно к «Острову», и Свиридов снова попробовал работать, но Тэсса приехала быстрее, чем обещала.

Ей было лет сорок пять, похожа на Эллен Берстин времен «Алисы». На ней было голубое платье с короткими рукавами, оттенявшее ровную смуглость. В юности наверняка была хорошенькой, крепенькой, с ямочками, теперь обтянулась. Бывала в Афгане, Чечне, Ираке, интервьюировала сенаторов, получила премию Союза немецких городов за книгу интервью с турецкими гастарбайтерами «Чужие, но такие же люди». Фильм, снятый по этой книге, демонстрировался на Берлинском кинофестивале в рамках программы «Познавая восточного соседа». Следом за ней, отдуваясь, шел шофер (а что, внешность заплечная – нос картохой, пивная шея). Он

тащил тяжелый холщовый мешок, из которого выпирали острые углы. Вероятно, Тэсса ездила на интервью с вещами, боясь оставлять утварь в корпункте: сопрут, варвары.

Гомбровиц излучала позитивную энергию. У Свиридова мелькнула мысль, что хорошо бы попросить ее помыть пол, а то, знаете, руки не доходят, -- все польза. Она помыла бы ради колоритной детали для будущего очерка, -- но он сдержался.

-- Я узнала о тебе из газетт, -- она мгновенно перешла на ты. -- Я могу дальше по-английски?

-- Да, конечно.

По-английски она говорила немногим лучше, чем по-русски. Она прочла в газете про список. Ей интересны все люди списка, и она надеется на свиридовскую помощь в установлении контактов. Ей очевидно, что правительство загнало себя в тупик и теперь стоит перед прямой необходимостью массовых репрессий, потому что в обществе зреет недовольство. Ей интересно понять, каков механизм формирования списка, и она имеет основания предполагать, что это люди недовольные, имевшие неосторожность «высказаться мало ли где», пояснила она по-русски. Ее личный друг, депутат Бундестага от земли Рейнланд-Пфальц, сообщил ей конфиденциаль, что список составлен уже давно, но вышел на поверхность только сейчас, и в нем весьма высокопоставленные люди, йа, йа. Так что Свиридов не одинок. И, само собой, она ознакомилась благодаря интернетт с некоторыми его публикациями, с отзывами на фильмы, просмотрела одну серию «Спецназ», отметила, что критика находит в его работах социальный критицизм, и потому не видит особенных причин удивляться. Все в норме, этого следовало ожидать давно.

-- Я и ожидал, -- ляпнул Свиридов.

-- О! У тебя было причин?

Он нехотя, ненавидя себя за пошлое желание соответствовать чужим клише, рассказал о неизбежности «тпру» после всякого «ну», о чередованиях оттепелей и заморозков как главном русском законе -- все это было до того нудно и многократно переговорено, что он сбивался и пропускал целые звенья: ладно, неважно. В общем, что-то подобное давно должно было случиться. Но почему список составлен именно так, по какому критерию они все отобраны -- он понятия не имеет и надеется на ее проницательность.

-- Но это точно как тогда! -- воскликнула Тэсса. -- Тогда было точно так, и никто не понимал, за что! Но все это были люди, которые не были готовы повторять за всеми, которые, может быть, были только чуть-чуть лучше, чем все, но эта чуточка и решала! Посмотри, ведь все это простые люди или очень высокопоставленное начальство, но совсем не затронут средний класс чиновничества, как тогда! Исполнитель тот же. Тогда тоже страдал либо часть верхушка, либо самый низ, беспомощный. Надо только понимать, кто составлял список, и я почти не сомневаюсь, какая организация это может здесь делать одна. Да?

Она подмигнула, и Свиридов немедленно почувствовал себя участником антирусского заговора. Впрочем, после утреннего поводка ему было уже все равно.

Все попытки быть лояльным заканчиваются одинаково, а если хамить вслух и дружить с иностранными корреспондентами, могут испугаться и не тронуть.

-- Я привезла договор, моя просьба такая, -- продолжала она, улыбаясь и встряхивая пшеничными волосами; должно быть, в белозубой юности эта манера была даже обаятельна. Тэсса неуловимо и неумолимо напоминала пиарщицу детского центра, запретившую Свиридову выходить на сцену за призом. Ведь ровесницы, могли вместе отдыхать в том самом центре, обмениваться потом бессмысленными письмами. И обе все время врут, каждую секунду, оттого и ямочки пропали. -- Я прошу, чтобы ты писал как бы дневник. Как вот ты в списке, как сегодня тебя не пустили туда, закрыли сюда, как ты подвергался тому и сему. Это будет дневник изнутри списка. Ты в списке один человек с литературой, с талантливой литературой, я хочу оформить договор. Мы будем перечислять на счет, это хорошие деньги.

-- Вообще-то, -- хмуро сказал Свиридов, -- это может ухудшить мое положение.

-- О нет! -- она решительно замотала волосами. -- Тогда тоже все думали, что контакт может ухудшить положение. Но ничто не могло ухудшить их положение, оно было решено тогда, когда они попали в список. Неважно, какой: тогда был такой, сейчас другой. И тогда люди тоже знали, что они в списке, и их оставляли на свободе смотреть, как себя поведут. И никто не бунтовал, не бежал, все были готовы. Я хочу, чтобы ты рассказал, как это жить в списке.

-- Вы считаете, что моя участь решена? И у всех тоже? -- Свиридов испугался и потому разозлился. Тэсса погладила его по руке легчайшим европейским прикосновением -- вероятно, так она гладила скелетоподобных детей Африки, предлагая им для репортажа подробно рассказать о голодных резах в желудке.

-- Я не знаю, какая участь. Я знаю, что пока еще можно менять. Если ты будешь рассказывать это для всех -- может быть легче всем, всему списку.

Ага, мы уже настолько знаем психологию туземцев, что уповаем на неистребимый коллективизм.

-- Я попробую, -- сказал Свиридов. -- Но мне нужны гарантии.

-- Копирайт? -- спросила глупая Тэсса.

-- Мне нужны гарантии на случай ухудшения моего положения. Если после публикации за мной начнется охота, или меня начнут куда-то вызывать, или мое положение ухудшится -- вы должны мне помочь с отъездом. Политическое убежище там, я не знаю.

-- О, это я конечно буду! -- воскликнула Тэсса. -- Я буду конечно это пытаться! У нас сейчас это очень затруднено связи проблемы миграция, ты знаешь, но мой знакомый депутат в Бундестаг помогал, натурализация для турецкие, курдские, еще, может быть, еврейская линия... У тебя нет еврейская линия?

-- Нет, -- отрезал Свиридов.

-- Ну, это решаемо. Это как целое решаемо. Мы будем это смотреть. И потом смотри, я знаю, что у тебя – у всех – проблема с работой. Тут на первое время, просто от меня и газета. Это будет как аванс.

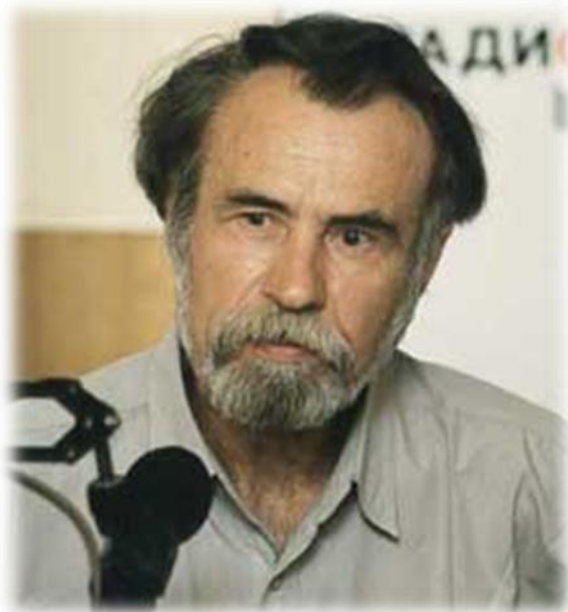
Она указала на мешок. Водитель, все это время тупо сидевший на Свиридовском диване, развязал его и продемонстрировал Свиридову богатую внутренность подарка. Там было очень много вурста в полиэтиленовых упаковках, консервные банки с мясным фаршем, пачки сухого какао – месячный сухпак для Гаргантюа.

-- Я не могу это взять, -- занервничал Свиридов. – Я не голодаю, и у меня еще есть работа...

-- Ну, ты же понимаешь сам, как будет с работа, -- улыбнулась она обворожительней прежнего, и Свиридов понял, что его окончательное увольнение для нее крайне желательно как тема. Еще хорошо бы его убили, как Литвиненко, желательно, чтобы он умирал достаточно долго для хорошей серии репортажей. Таллий, бериллий, не знаю, бернуллий. Конечно, Тэсса Гомбровиц не любила его. Она искренне хотела, чтобы он сдох в нищете и мучениях. Но он был нужен ей и не видел оснований пренебречь конъюнктурой. Сейчас не приходилось надеяться на тех, кто его любил. Те, кто его любил, были малочисленны и бессильны. Надо было цепляться за Тэссу, ее депутата от земли Фуфель-Пферд, ее продуктовые мешки с вурстом. Списанные не имеют права на любовь, это дар богов сверх преискуранта. Рассчитывать надо на тех, кому ты нужен как чучело. А что я нужен как чучело в неблагоприятных играх неблагоприятной Тэссы – так извини, Родина. Я тебе ничего не сделал, ты первая начала, теперь не обижайся.

Сговорились на следующем четверге. К четвергу Свиридов подкопит впечатлений и напишет две тысячи слов о первых неделях пребывания в списке. Деньги придут на валютный счет. Тэсса чмокнула его в щеку на прощание и упорхнула, не переставая заговорщически посмеиваться. Следом шел шофер, идеально энигматичный, не проронивший за час ни слова. Свиридов открыл банку фарша, разжарил его на сковороде и сел обедать. С доставкой на дом, с ума сойти.





Владимир Маканин

Vladimir Makanin was born in 1937 in Orsk, a city which straddles the Ural River. Makanin himself recalls how every morning he would cross from the 'European' side where he lived, into Asia, to go to school, before returning back to Europe in the evening. His love of chess led Makanin to enter Moscow State University (he has remained in Moscow ever since) to study Mathematics – and for six years after that he was a mathematician working in a laboratory of the Dzhherzhinsky Military Academy.

After attending a film course in 1963, however, Makanin's interests took a more literary direction and he began to write. His short stories quickly made his name amongst Russian intelligentsia circles and his first novel, 'Прямая линия' (The Straight Line), appeared in 1967. With the end of Khrushchev's 'thaw' in the late 1960s, Makanin fell out of favour and was largely ignored by Soviet literary critics for the next twenty years. From the 1980s onwards, however, he was increasingly 're-discovered' by a new generation of critics and writers. In 1993 Makanin won the Russian Booker Prize for '*Стол, покрытый сукном и с графином посередине*' ('Baize-covered Table with Decanter'), in 1998 the Pushkin Prize and, in 1999, the State Prize of the Russian Federation.

From official opprobrium to the highest state honour, Makanin has evolved a highly original type of narration characterized by a montage of plot fragments, dialogues, philosophical speculations, dreams and legends, often arranged with gaps in space and time. His most recent work, 'Асан' ('Asan'), which won the 'Big Book' Prize in 2008, is a stream of consciousness account of the life of a military manager who runs a warehouse in Chechnya.

ТЕХТ 2: Асан (отрывок)

Воинственный националист — мужчина, как правило, мелкий, ущербный, иногда уродливый и всегда рвущийся к оружию, потому что иным способом ему от жизни взять свое не дадут. Таково подсознание... Это у всякой нации... И я мог бы предвидеть. Но то, как и какие неполноценные обрушились на меня с первой же волной... все-таки!.. все-таки перебор!

Было слишком... Одноглазые. С заячьей губой. Или росточком едва за метр. И через одного каждый с нервным тиком на лице. И как пугающе дергалась его шея... Таких держать дома. Зачем выпускать?.. Трясая сами, они еще и трясли малограмотными бумажками, где предписывалось дать им оружие на законных основаниях... Были даже горбуны. Но я выстоял. Не дал. Тогда эти уроды подставили русских. С витиевато написанными, но тоже липовыми бумажками. Этих я и вовсе послал.

Крикливое и уродливое воинство лезло в склады, бросаясь из пакгауза в пакгауз. Палили из автоматов, правда, пока что в небо. Со злости. Мой сержант орал: "Майор! Товарищ майор! Сюда!" — и я бежал "сюда", а потом "сюда". Не шел, а бежал... Я тоже хватался за кобуру. Но не вынимал. (Угроза сильнее, чем ее выполнение.) А чичи уже всюду... У каждого пакгауза четыре-пять человек. Ищут поживу... Если не оружие, так дай бензин, убью!

Все мечутся... И я мечусь... И то там, то здесь из автомата в небо. Просто так. Для музыки!.. И вот среди этой музыки и криков я вдруг увидел кожан. Сначала спокойную большую кожанку... Вертолетчик... Русский.

Весь поразительно спокойный, вертолетчик стоял себе и нажевывал что-то. Отбить запашок. Знаем!.. Листиками кинзы. (После вчерашней поддачи?) Я кинулся к нему: "Вам, пардон, чего?!" — спросил с яростью. С опережающей злостью... На кожане звезд нет, чина нет. А он протянул руку. Еще чего!.. Я не пожал. "Керосину бы... Летать-то надо". Он улыбался. Было ясно, что он из Ханкалы. Они там чувствовали себя гораздо уверенней, чем мы в Грозном.

Так ясно, так свежо он улыбался. Фантастически спокойный среди всех этих с нервным тиком. Человек с неба... Погоны под кожаном я, конечно, не усмотрел. Но мысль про достоинство, про незримые погоны, которые носит каждый человек, уже кольнула меня... Ишь, он какой!.. Да и что мне эта говенная горючка! Чего я на ней сижу?.. Чичи вот-вот устроят внутри склада прицельную пальбу... Бочки с бензином! Сгорю вместе с ними.

И вот — исключительно из складской противопожарности (меня словно обдало несуществующим пока что большим огнем!) я заорал на него:

— Забирай! Забирай все!.. Только быстро.

Погрузили. У меня и было на том складе бочек шесть-семь. Нет, восемь. Восьмую выкатили помятую. Почти треугольную... Подпрыгивала... Забросили в машину легко, как перышко. Не грузчики, а летчики!.. С ним приехали. Надо же! Ах, ах!.. Все в кожаных... Василек, кричали ему... Василек! Оказывается, он уже тогда был

подполковник!.. Молодой! У них, у небесных, чины быстрее растут. Засранец, подумал я. Хоть бы спасибо сказал. Нажевывает кинзу! Лишнего слова для человека жаль!

А следом, завидев увозимые бочки, на меня кинулся чич. Ему — тоже. Ему тоже бензину!.. Как на женщину. Дала — значит, уже дала... У этого ни тика не было, ни горба. И не заикался. Вроде бы и не наш человек. И вдруг меня осенило — *перекошенный!*.. Одно плечо выше другого сантиметров на десять. За счет искривленного позвоночника. Запомнился!.. Чич хотел почесать у себя под левой коленкой. Так казалось. Левую руку сильно оттягивал вниз. Этим скособоченным, я запомнил, закончились наезды первой волны.

Я сказал ему — бери. Впустил сам его внутрь... Чтобы дорогой гость посмотрел на пустые углы. Там, в углах, все еще воняло бочками. Но бочек не было... Озлясь, чич поднял автомат и стал стрелять вверх. Просто вверх. Дырок в крыше наделал... Но и дырки были, я помню, с перекосом влево. В западную сторону.

Зато вторая волна впечатляла — рослые, плечистые и лицами хороши. Стремительно сбрили бороды. Казались актерами, которых ты где-то и когда-то уже видел... Я даже всматривался в лица. Чеченцы, вообще говоря, красивый народ.

Красавцы вроде как засиделись в горах, жаждали мне показаться — но зато теперь они быстро спустились, буквально свалились с горных перевалов. И сразу хотели оружия. И автомат красиво в руке держали... Один целил мне сразу в лоб, другой — в пах... Такая раздвоенность прицела особо напрягает мужчин, оказавшихся под дулом... А они, целящиеся, смеялись. Эх, ах, Костыев-друг!.. Быстро исчез!.. Стоя под дулом (под двумя дулами), немеешь, нужда острая именно в чеченце, чеченец нужен... с языком... с повадками... для того нас двоих и срастили на складе вместе!

Он бы с ними базарил, а я бы надувал щеки, мол, ладно, ладно... мол, позвоню. Уточню насчет оружия и насчет вас... Эх, Костыев!.. Я тогда даже двух слов не понимал, когда чеченцы меж собой орали. У этих, с автоматами, у них не было нервного тика в подглазье, зато я теперь моргал всю... Слюна летела мне в самые зрачки. Злая слюна их криков. Эти суки ссорились, решали — прикончить меня или только отстрелить мне яйца... чтобы голос майорский был нежнее... евнух майор Жилин, а?.. Звучит?

Но и этих я тормознул. Пока что тормознул... Кое-что растащили... Ну, там автоматы, но десятками. Не сотнями же. Пришлось кинуть им хоть что-то. В каждом пакгаузе я приманкой держал несколько как бы забытых стволов. Как бы кому-то обещанных... Чичи их жадно хватали. Они балдеют от АКМ.

Крикливые небольшие отряды-банды, с непонятно каким горским языком. Бесноватые, они врывались в пакгауз!.. Орали... Пугали... Мои солдаты охраны и солдаты-грузчики становились тихими и все больше немели. Слухи об отрезанных ушах... о посаженных в яму рабах... Солдатики покрывались потом. И помалу ударялись в бега... Строй таял с каждым утром. Вскоре сбежал сержант. Не сказал до свиданья, боялся, что его запру.

Но пока бандочки ограничивались десятком “калашниковых”, я откупался... Коллапс... Ничего удивительного! Склад был похож на страну, а страна на склад. Начальство мое, полковники Фирсов и Федоров, только обещали усилить охрану... Прислать даже пару БТРов... Я кричал, причитал, вопил. Однако в ответ только их легкий полковничий треп. Телефонное фуфло.

Начальству, как известно, виднее. Вывезти оружие в Россию чеченцы не дадут, это ясно. А оставить стволы чеченцам — значит, после за кровь отвечать. Поэтому начальнички попросту убегали, оставляя дело и ответ на нас, кто чином поменьше... Им же виднее!.. Бежали, а я? А как же я?.. А я, разумеется, был оставлен... Приказом... Каждый поздний вечер, вместо сна, я погружался в проклятую писарскую склоку. Писал бумаги-жалобы! Одна глупее другой!.. И звонил, звонил... На что мои начальнички, мои два полковника, Фирсов и Федоров, только сердились:

— А что, собственно, ты хочешь, майор?!. Война!

И собирали чемоданы.

Наши, по сути, уже ушли... Все стройки замерли, а все склады напряглись и дрожали в ожидании грабежей. Мне меж тем было велено оставаться на месте и мужаться. Стоять стеной.

Стоять стеной в одиночку, это как понять?.. А вот как!.. Меня оставили завскладом, чтобы после отдать судить — судить и упечь в тюрьму. Когда склад окончательно разворуют... Они решили мою судьбу легко. Они, эти два полковника — Фирсов и Федоров, мои начальники. Я их случайно подслушал. Они не стеснялись в выражениях. “Если федеральные войска в Грозный вернутся, отдадим его под суд за разворованное”. И был альтернативный вариант: “Если федералы не вернутся, оставим его здесь... Забудем его. Отдадим чеченам. Пусть его порвут”.

Формально они дали мне знать. Уже уезжая, они меня все-таки позвали на ту их пьянку вдвоем. (Вызвали под приказ.) Вроде как по-дружески прикрепить мне звездочку майора — новый чин... Представление на майора было уже много-много раньше, еще Костыев не сбежал. Но теперь вроде бы обмыть. На деле же им, полковникам, был нужен факт — мол, они меня официально оставили... Как бы передача дел... И разумеется, в будущем один полкан будет свидетельствовать против меня, защищая другого, — и наоборот. Если вдруг что. Если спрос.

Простенькая, в сущности, схемка. Втроем, мол, мы все тогда обговорили, решили окончательно. Честь честью. Посидели вместе... Плюс выпивка.

Я, сидя тогда с ними за столом, понимать понимал, но все еще оставался дурак дураком. Так бывает... Они, знай, наливали по полной. А я думал, что, собственно, дальше. Тупо думал... От неожиданности на меня свалившегося. И только много пил с ними. И мало закусывал.

Зато я все услышал.

Они, конечно, предвидели и мою маяту, и какой головной болью я, остающийся здесь, буду болеть. Отдавая чеченцам каплю за каплей бензин... ящик за ящиком патроны. В конце концов я с чичами не полажу и меня убьют... Порвут.. Таких капитанишек-майоришек — море... Не жалко... Даже если уцелею, я буду виноват тем, что отдавал оружие чичам все больше. Когда нож был у горла. Когда пистолет был всунут мне в рот...

— Времяша так и оставляем. Одного?

И неважно, кто из полковников так сказал первым, потому что второй ему только поддакивал:

— Времяш хоро-ош!

— Догадается?.. Не-еет!.. Ни в коем случае! В его репке мысль вообще не сосредоточивается. Настоящий майор!.. Но если он чего и надумает, то это уже не для нас информейшн...

— Не успеет надумать. Он ничего не успеет... Им, оставшимся, здесь быстро рвут жопу.

Так они говорили... Два полкана, Фирсов и Федоров, а я, времянка, времяш, которому скоро порвут жопу те или эти, лежал под высоким и красивым крыльцом их чистенького штабного дома... Лежал в собственной неожиданной блевоте и их слушал. Я тогда слишком уважал моих полковников.

Я уважал... И было стыдно, что я так торопливо напился. Напился плохо, мутно. Хотелось, чтобы какое-то время, минут пять-десять меня не видели, пока проблююсь. Хотелось в пять-десять минут выправить и выровнять вдруг покосившуюся майорскую удаль.

Они, полковники, сами поторопили меня. Они дружелюбно погнали меня в кусты: "Поди, капитан, проблюйся. Но не сворачивай на плац!" — "Он уже майор, ты забыл?!. Поди. Поди, майор". — "Не сворачивай на плац, майор. А сразу в кусты. Сирень от шиповника еще отличаешь?.. В сирень нельзя — в шиповник валяй!"

Тяжелый, я вышел. Асфальтовый плац показался мне бесконечным, не дойду. Но и кусты шиповника росли почти на горизонте. Так казалось. Так меня подпирало... Не дойду... И я не пошел в кусты шиповника. Не полез... Я попросту сунулся под крыльцо (как когда-то в моем детстве мой отец), — под высокое крыльцо их дома, где меня выворачивало, крутило, подбрасывало, исторгало из меня непонятно что... и не ел я этого... не пил!.. А оно из меня летело и фонтанировало.

Зато услышал... Они меня заложили, батя, меж двумя стопками водки. Местная поганейшая водка, под колбасу и сырок, еще рыбка была копченая... а-а, вот чем рвало... Рыбкой привозной. Копчушкой... Они меня, батя, сдали. Списали, как на складе... Заложили, закусывая... И запивая... Им было все равно, что у меня остается жена и малая тогда дочка. Им было без разницы, что я живу некую свою жизнь, что и сам я был (как и они) когда-то пацаненок... что у меня была мать, и что ты учил меня удить, вырезать удилище... мягко, но быстро выбирать лесу, когда она, скользя в воде, обжигает пальцы... Им было начхать, батя... А я был под их крыльцом. Твой опыт.

Ты не помнишь, батя. Зато я помню. Ты принагнул и вдруг быстро-быстро полез под крыльцо. Вроде по делу... Давно это было... Шмыгнув туда, ты там спокойно и честно блевал, чтобы мальчишки, пацанва, выбежавшие следом, не видели тебя. Чтоб не заулюлюкали... Я видел тебя там. Глазастый мальчишка видел тебя, а они нет. Ты очень хорошо притих под крыльцом, батя. Хорошо спрятался. Настоящий честный совок. Стыдливый.

Много позже Фирсова и Федорова отдали под суд, за то, что они оставили склады. Нет, нет. Не за меня, разумеется... А вообще... Ими кто-то высокий прикрылся, как собирались они прикрыться мной. Но все-таки они получили свое. Война — справедливая вещь... Иногда.

Может быть, когда их судили... Жалким и похудевшим, с оборванными погонами, может быть, им припомнилось, как они сладко ели и пили, удирая из Чечни... как жировали... бросив одного... приказом!.. оставив человека, с которого обязательно спросят... сейчас спросят те, а после эти... Щелк! Щелк!

И не будь тогда свыше этих звонких щелк-щелк пальцами, как бы уцелел майоришка, обреченный на выбор — либо быть судимым за расхищенные склады, либо за предательство, пособничество сепаратистам... Либо еще проще — быть пристреленным крикливыми чичами еще той, еще самой первой волны. Откуда их тогда набежало?.. С заячьей губой. С одним ухом... Редко-редко кто без нервного тика... Для большинства людей нет разницы, убил тебя красавчик или урод уродом. Но из опыта я-то знаю. Все-таки приятней, когда на тебя наводит дуло человек красивый... Как-то спокойнее.

Наконец ворвались. Они носились по пакгаузам, кружа возле ящиков с “калашниковыми”. Третья волна... Это был бы полный финиш, конец. И для меня. И для складов. И то, что этот человек с усиками сумел хотя бы временно их построить и ими покомандовать, говорит в его пользу. Генерал, он делал дело с умом.

Я тогда и к нему обращался. По старой памяти... Я же складской, я... на ничьей земле. Помоги, товарищ генерал, унять своих бесноватых.

Ответ был краток — не могу.

И кратко же Дудаев пояснил:

— Я сам случаен. Я тоже случаен. Поверь, майор... Лидер — это большая случайность!

Он умел скромничать. Как все люди с безграничным тщеславием. Но спустя время мне подумалось — а вдруг человек говорил правду. Правду, которую он знал. Правду, которой он не стеснялся.

Оседлать волну... Только не спешить, не хапать — вот и весь талант лидера. Накопить, насобирать, надергать себе, намолить правдой-неправдой побольше звездочек на погоны, дожждаться волны и... и... и не спешить.

Он тонко чувствовал боль своего народа, униженного и оскорбленного (прежде всего высылкой из родных мест... полными составами!). Он улавливал минуты гнева. Вирази противостояния... Те минуты и те особые вирази, когда гнев уже надо унять. Направить!.. Отсюда и особенное, уважительно-насмешливое его чувство к врагу. Это у него классно получалось!.. РУССКИЕ — В СИБИРЬ... Он заметил надписи и запретил, велел подправить. РУССКИЕ — ДОМОЙ... Это красовалось на стенах, на торцах пятиэтажек, на заборах. На общественных полуразрушенных зданиях.

Он грамотно раскачивал лодку.

Так что возможно, что и сам Дудаев не смог бы на них в голос прикрикнуть. По пакгаузам, по всему складу чичи бегали как отвязанные. Уже сами по себе... Как муравьи... Лезли. Что-то волокли... Мои последние два солдата охраны вырывали у них ящики, но отнести на место уже не успевали. Хотя бы вырвать из рук... Оставались еще солдаты-грузчики, но те тоже таяли. Тоже в бега! В Россию... Ничто

там и тут не убиралось... Ящики где попало. Я уже и не пытался отыскать по описи, где что лежало. Опись только мешала и путала, такой был бардак!

Что-то немыслимое. Бесноватые! Чокнутые! Метались по складу... И дрожали плотской дрожью, как только приближались к ящикам с оружием. Их трясло. В них ничего не было, не осталось от тех чеченцев (их дедов), которых, тихих-мирных, выселяли в степи Казахстана и в Сибирь семьями и целыми селами.

Мои последние два солдата жили, совсем онемев, оглушенные чужеродной силой. Молчали. Я тоже онемел... На моих глазах! Никогда и нигде, ни одна женщина не притягивала так мужчину, как притягивал чеченских юнцов новенький, пахнущий смазкой складной “калашников”. А гранатометы!.. Это же чудо! Это пляска и транс!.. Невероятно, но я видел, как один из этих бесноватых гладил, а потом и поцеловал угол ящика, где в щель меж досками проглядывала “труба” реактивной РПГ-26.

Теперь я откупался целыми ящиками... Автоматы, патроны... Но оружия все еще было очень-очень много. Переполненный склад был беременной женщиной. И одним из тех предчувствий, какие случаются у переживающих свой срок беременных, было то, что вот-вот к нам сюда явится сам Дудаев... И встанет вот там... На входе... С улыбкой. Она была холодная, его улыбка. Напряженно-холодная... Улыбка больше, тревожнее напрягала, чем все эти дурацкие угрозы юнцов — отрезать мне оба уха, *по очереди*... Размозжить голову, *зажав ее дверью*... Технология каждой угрозы подчеркивалась. Технология была серьезная, судя по громыхающей вслед горской ругани... И так милы казались вкрапленные там словечки русского мата.

Один ящик с верхней полки, вырвавшись из рук чича, упал с трехметровой высоты. Грохот оглушил. И чеченцы, и мы — разом притихли, подумав, что рванул... или вот-вот начнут рваться снаряд за снарядом. Кое-кто бросился на пол... Снаряды были как раз на верхних полках. Облако белой пыли запудрило нас. Это была известка... Всего лишь!.. Страх отпустил. Минута мертвой тишины взорвалась радостными пронзительными криками. Вопили... Плясали...

От той известковой пыли мы отплевывались еще сутки. Ночью в горле стоял ком.

Взлететь на воздух мы могли в любой день. Я поглядывал на ворон, привычно сидевших на коньке склада. На голубей... Успеют ли хотя бы птицы взлететь при взрыве?.. Мои оставшиеся два солдата (один из них сбежит этой же ночью) мрачно чертыхались. Глаза у солдат ввалились. На лбу непреходящая испарина страха... Мои слова их уже не успокаивали.





Ольга Славникова

Olga Slavnikova was born in 1957 to a family of aerospace engineers near Sverdlosk in the Urals, modern day Ekaterinburg. After finishing school she studied journalism and graduated from Ekaterinburg State University in 1981. Slavnikova began publishing fiction in the late 1980s (her first novel appeared in 1988), during which time she was also fiction editor, then managing editor, of the literary magazine *Urals*. Slavnikova has lived and worked in Moscow since 2001.

From the 1990s onwards Slavnikova has produced many acclaimed novels including 'Стрекоза, увеличенная до размеров собаки' ('Dragonfly the Size of a Dog'), 'Один в зеркале' ('Alone in the Mirror') and 'Бессмертный' ('Immortal'). She has received the Apollon Grigoriev Prize, the Polonsky Prize, the Bazhov Prize and, in 2007, for her novel '2017', the Russian Booker Prize.

Published in 2006, '2017' has been widely acclaimed. Its anti-utopian format allows Slavnikova to dip into the near future in order to survey the century which has elapsed since 1917. A beguiling mix of romance and realism, '2017' is enriched with the folklore of the Urals, the drama of mountaineering expeditions and the gruesome conventions of the gem industry.

Slavnikova also writes prolifically about contemporary literature and has established the Debut Independent Literary Prize for young authors writing in Russian: each year the prize receives anything up to 50,000 entries.

ТЕХТ 3: 2017 (отрывок)

Крылову было назначено на вокзале, 7 июня 2017 года, в половине восьмого утра. Непонятно как, но он проспал и теперь спешил бегом среди извилистых луж, похожих растянутыми позами на перепутавших “лево” и “право” матиссовых танцоров. В руках у Крылова болтался пакет, куда был туго забит верблюжий свитер. Свитер надо было отдать профессору Анфилогову на замену того, что оказался напрочь уничтожен молю: на севере, куда экспедиции предстояло добираться три недели, весна еще только вступала в права, — и под пьяными елями, в укрытии их широких черных шалей, еще белел присыпанный иглами каменный снежок. Размазывая ботинками сырую кашу облетевшей черемухи, Крылов проскочил привокзальный сквер; взглянув на серую башню с квадратными часами, где стрелка, как палка слепца, только что ткнула и не попала в римское IV, он сообразил, что успевает, и даже с запасом.

Слишком легкий в привокзальной толпе, тяжело насыщенной влекомым багажом, Крылов семенил почти на цыпочках за грудой клеенчатых баулов, когда его внимание остановила невесомо одетая женщина. Незнакомка просвечивала сквозь тонкое марлевое платье и рисовалась в солнечном коконе, будто тень на пыльном стекле. Между Крыловым и незнакомкой сновало множество народу, полностью поглощенного собственной поклажей. Никто ничего не видел вокруг, кроме полустертого солнцем табло объявлений, где то и дело сыпались с треском застоявшиеся строки, пока не выскакивали (как бы составляясь из ошибок и на секунду задерживая самую последнюю) названия и номера прибывших поездов. Незнакомка тоже разделяла всеобщую слепоту: она, всеми растопыренными пальцами укрепляя на лице квадратные очки, что-то быстро говорила своему неясному собеседнику, сажавшему половчее себе на кеды мятую дорожную сумку. Только минуты через три до Крылова дошло, что этот собеседник и есть Анфилогов Василий Петрович, совершенно ничем не замаскированный, только успевший отпустить табачную щетину, которой за пару месяцев экспедиции предстояло стать курчавой жесткой бородищей. Тоже заметив Крылова, Василий Петрович сделал ему повелительно-приглашающий знак, тем же заходом руки демонстративно выбросив из рукава защитной куртки сверкнувшие часы.

Тут же, смешав приветствия, подскочил деловитый Колян и предъявил Анфилогову целый веер багажных квитанций. Все равно в ногах оказалось еще до черта поклажи, и Крылов поспешно навьючился, накидав на себя брезентовые лямки и каким-то образом (через чьи-то передавшие руки) поручив незнакомке свой неудобный, но легкий пакет. Долговязый Колян, улыбаясь мокрыми железными зубами, влез в постромки лично им пошитой сумки, где весомо покоилась краса и гордость экспедиции: купленный вместо услуг стоматолога японский движок. Василий Петрович, небрежно набросив себе на голову тряпичную кепчонку, повел свой маленький отряд через промозглый туннель, занятый табором приехавших на заработки азиатских нищих, уже поставивших под жидкий монетный дождик (профессионально чувствуя, где именно протекает здешняя крыша) выдавшие виды коробки из-под жвачки.

Наконец поднялись на перрон; здесь еще не подали состав, и открытое пространство рельсов и проводов было пусто, будто перспектива из урока рисования; по лестнице

пешеходного моста, схематично начерченного поверх упоительных утренних облаков, восходила, всячески помогая своей детским шагом переступавшей тележке, неопределимая, но удивительно четкая человеческая фигурка. Зверски прослезившийся Колян пытался одновременно курить и зевать, дымя кое-как прикрываемой пастью, будто отсыревшая печь. Анфилов, собранный, в профиль к суете перрона, напоминал романтического преступника — кем и являлся в действительности.

— Значит, будь добр, подготовься к работе в середине сентября, — обратился он к Крылову, перейдя на тот сухой отрывистый тон, что снискал ему дурную славу в среде раннего университетского начальства. — Оборудование докупил, деньги можешь потратить все. Наверстаем с лихвой.

По тому, как Василий Петрович понизил голос, Крылов сообразил, что сказанное не предназначалось для незнакомки, стоявшей чуть поодаль, с мурашками на голых руках, обнимающих пакет. Женщина явно относилась — по сердечной, родственной или служебной части — именно к Василию Петровичу, это отношение никак не прояснившись. Крылов все не мог рассмотреть ее как следует: мельком бросаемый взгляд выхватывал то следы прививок, похожие на овсяные хлопья, то крошечную лаковую сумку, то крупное, мужского кроя, розовое ухо, за которое небрежные пальцы то и дело заправляли коротко обрубленную прядь. Стоя близко от незнакомки, Крылов почему-то терял представление о собственном росте и не мог определить, выше он ее или все-таки нет. Эта женщина казалась ему абсолютно замкнутой в себе. Вместе с тем она как будто все-таки была посвящена в тайну и цель экспедиции: на щеках ее, заливаясь под очки, гулял малокровный румянец, и общее волнение, скрываемое мужчинами за деловитостью и привычной бравадой, играло в ней неярким матовым огнем.

Теперь Крылову уже хотелось, чтобы Василий Петрович с Коляном поскорее уехали, хотелось их спровадить, чтобы приступить, наконец, к ожиданию их триумфального возвращения — чем более триумфального, тем более будничного, с грузом каких-нибудь аметистовых щеток для отвода завистливых глаз. Наконец послышался низкий мохнатый гудок: вдаль показалась и стала расти, целиком заполняя собою и своими вагонами одну из длинных пустот перспективы, башка тепловоза. Поезд налетел, зашипел тормозами, все медленней поплыли в раскрытых вагонных дверях белоногие проводницы. Пока Василий Петрович, Крылов и Колян закидывали поклажу в тамбур, пока волокли ее, застревая и шоркаясь, по полосатому от солнца коридору, пока устраивали вещи, по очереди присаживаясь в тесноте купе на голую полку, обтянутую бурым дерматином, — незнакомка стояла внизу, и косая солнечная щель между теневыми вагонами, похожая на ружье с ослепительным штыком, проходила по ее незагорелым сомкнутым ногам.

Крылов то и дело украдкой поглядывал на женщину сквозь грязное стекло, испещренное похожими на птичий помет следами челябинского либо пермского дождя. Временами поезд содрогался, ахающая судорога прокатывалась от головы к далекому хвосту, и тогда Крылову мерещилось, что теневые вагоны потихоньку шевельнулись, будто тронутые ветром большие флаги, солнечная щель переполнилась содержимым — и вот уже, не выдержав, побежала ручейком, попятился налево побитый вокзалище, гуднул, разросся и лопнул встречный состав,

открывая холодное пространство с железным озером, засыпанными рыжей хвоей горбатыми валунами, синими горами до горизонта.

На самом деле поезд еще стоял, профессор цокал ногтями по толстому стеклу, выглядывая незнакомку, тотчас подбежавшую на знак. Привстав на цыпочки, она распластала на окне четко прорисованную длинную ладонь, Василий Петрович ответно приложил свою — и Крылов поразился, сколь схожи эти руки чем-то латинским в линиях жизни, крупным изяществом пальцевых костяшек. Не дожидаясь больше никаких наставлений и последних церемоний, Крылов поспешно вылез из купе. Определенно он был не в себе, сказывалась, должно быть, бессонная ночь, все видимое было удивительно отчетливо и оставляло в сознании Крылова необычайно резкий отпечаток. Как только он через две железные ступеньки спрыгнул на перрон, пыльный состав облегченно содрогнулся и, проливаясь на шпалы какими-то остатками технической воды, медленно пошел вдоль ряда провожающих, словно считая их по головам. Шагая следом за ним, следом за ним ускоряя шаг, Крылов поравнялся с незнакомкой, которая махала ускользящим стеклам, пока не выскочил хвост последнего вагона, похожий на обратную сторону игровой карты.

Сперва они держались вместе как бы нечаянно: выход в город был только один — все тот же тоннель, где Крылов сумел удачно стряхнуть повисшего на спутнице азиатского ребенка лет девяти, стервеца с мужскими похотливыми глазами, чья липкая лапка уже почти залезла в ее беззащитную сумочку. На вокзальном крыльце, где им, так и не представленным друг другу, предстояло распрощаться, Крылов внезапно почувствовал, что просто не сможет справиться с одиночеством этого дня, все еще свежего и лучистого, как бы растворявшего, при нагревании солнцем, мятную сонную муть, — но уже почти набравшего полный объем устрашающей небесной пустоты. Наглаживая рыхлые ступени драными кроссовками, Крылов попытался рассказать какой-то анекдот: женщина вопросительно оглянулась, оступилась, устанавливая на лице поползшие очки. Вдруг на привокзальной площади вспыхнул и грянул невидимый дотоле духовой оркестр: там округлый господин с крестообразной эмблемой на лацкане пиджака, повторяемой бородатыми от кистей партийными штандартами, вышагивал походкой голубя перед строем каких-то полувоенных, из-за разной толщины и сутулости похожих на соленые огурцы.

Онемевший Крылов, слыша только шум своего закупоренного мозга, придержал незнакомку за локоть и попытался улыбнуться. Женщина освободилась, мягко пожав плечом, и, не глядя на оркестр и строй, тихонько двинулась совсем в другую сторону — как бы пробуя на прочность соединившую ее и Крылова невидимую ниточку. Там, куда она направлялась, все было ярче, лучше, чем на три другие стороны света: приманчиво пестрел нарядными, подарочно оформленными лекарствами аптечный киоск, фонтанчик на мокром шесте радужно посверкивал водяной перепонкой, множество пустых троллейбусов, образуя собственное пространство из качки, стекол, отражений в стеклах, колыхалось возле конечной остановки, где неподвижно стояли сощуренные от солнца пассажиры. Испугавшись, что если он сейчас не двинется за ней, то женщина просто разматывает его, будто катушку ниток, до какой-то голой сердцевины, Крылов устремился вслед, подстроился, пришаркнул, поспешно договаривая прерванную шутку; уклончивая улыбка была ему наградой.

– Между прочим, я тоже с детства люблю этот анекдот, — насмешливо сказала женщина, медленно ступая по расшатанным плитам, хлюпающим сыростью протекающего фонтана.

– Я знаю много других, — поспешно сообщил Крылов.

– Наверное, все мои любимые, — заметила женщина.

– Тогда я каждый расскажу по четыре раза.

– Вы всегда такой разговорчивый?

– Нет, только когда голодный. Вот, кстати, вы не завтракали? Смотрите, там подвальчик, наверное, кафе.

– Это не кафе, а магазин “Товары в дорогу”.

– Неужели здесь не продают ничего съедобного?

– Продают, но только все такое, знаете, позавчерашнее. Я бы не советовала.

– Ничего, я однажды целый месяц питался консервами, которым было, представляете, по восемнадцать лет. Вскрываешь банку, а там не мясо, а сухой кусочек торфа. Кисель варил из брикетов вместе с бумагой, приросло...

Это был очень странный, очень длинный день; все городское, майское только что отцвело и лежало папиросной бумагой в перегретых лужах — и запах тонкого тления, сырого сладкого табака печально переслаивал зеленые бодрые запахи уже совершенно сплошной, холодной на ощупь листвы. Долгое время каждый считал, что тот, другой, его ведет, а сам он только следует чужой, еще непредсказуемой прихоти. При малейшем неверном шаге пугаясь расстаться, они сосредоточенно искали линию равновесия, заводившую их порой на проезжую часть. Они подстерегали и предупреждали движения друг друга; иногда их руки сталкивались, и тогда каждому казалось, будто он случайно тронул в воздухе летящую птицу.

Должно быть, только с большой высоты — оттуда, где висел, пылясь в воздушной солнечной толще, маленький рекламный дирижабль, — можно было как-то понять и прочесть ту неуверенную кривую, что вычерчивало по городу их движение, — а они не понимали ничего. Они всего-навсего оказывались в том или ином, часто незнакомом месте. Так они попали на уличное кукольное представление, где тряпичные марионетки в условных, похожих на хлебные корки сапогах словно стремились сорваться с ниток согбенного артиста, и немногочисленные зрители были поглощены не столько содержанием пьесы, сколько ходом этой борьбы. Их протащило сквозь маленький митинг, оглашавший окрестности маршевыми стихами. Уводимые

все больше под уклон, они постепенно приближались к городской реке с глубоким, как желудок, парковым прудом, где скапливалось и переваривалось все попавшее в реку добро, включая утопленников. Здесь, внизу, они забрели на пересеченную местность — свежие канавы с каменными ссадинами, старые серые откосы, сверкающие и скользкие от битого стекла. Здесь они не смогли по-прежнему двигаться одинаково и, размагнитившись, карабкались каждый на свой манер, благодаря чему незнакомка, смешно потоптавшись на пятачке, сбегала с кручи прямо в мужские неловкие объятия. Сразу же выпустив скользкие ребра, Крылов успел ощутить округлый вес подпрыгнувшего полушария и под ним, как в кармане, — дрожащее сердце размером с мышонка.

После, когда они уже втянулись в поставленный над собой (над судьбой?) эксперимент, Крылов пытался ответить себе на вопрос: что же, собственно, не отпустило его уйти своей дорогой с вокзального крыльца? Ведь было так легко разбежаться, и ближе к вечеру он и не вспоминал бы случайную встречу и пил бы пиво в мастерской, вкушая блаженство полумрака, похожего после резкого рабочего света на ласковый мех. Однако вместо того, чтобы идти и делать важный заказ, Крылов, как старшеклассник, гулял по городу с блеклой красавицей, вызывавшей у него в душе какой-то щекотный сквозняк.

Вероятно, причина была в необычном возбуждении, в перемене участи, что ожидала Крылова в случае успеха экспедиции. Что были ему эти агатовые кабошоны, ассорти из бракованного камня для нужд лотошной ювелирки? Много месяцев он жил с ощущением непонятного голода, и по ночам его постель была усыпана крошками, словно песком расстилавшейся вокруг пустыни. В повседневности образовалась дыра, которую каждый день следовало чем-то заполнять. В мечтах Крылову рисовались большие деньги — такие большие, что срок их действия простирался далеко за пределы жизни, помещая обладателя в своего рода обеспеченную вечность. Но вышло так, что получил он от жизни совсем другое. Как и почему произошла подмена, ни Крылов, ни женщина просто не поняли.

Пустившись пешком от вокзала, они в этот день бродили по улицам точно приезжие. Голод и безымянность сообщали особенную легкость их общей, все более согласованной походке, держаться вместе выходило все лучше и лучше. В открытом парковом кафе, куда Крылов со спутницей все же забрели перекусить, на красных пластмассовых столиках выгорало воскресное меню, хотя по календарю была несомненная среда. Но в ленивом парке стояло вечное воскресенье, по пруду, словно маслом намазанному светом, плавал в своей волне, точно на блюде, тусклый белый лебедь, в тире пощелкивало, похлестывало выстрелами, и на шее у женщины солнечное пятно, трепеща, присосалось к жилке, будто мультипликационный сказочный вампир. Расслабившись на бледном припеке, слегка прогревшем шаткую пластмассу, незнакомка сообщила, наконец, что ее зовут “допустим, Таня”. Имя было ненастоящее, это чувствовалось по легкой заминке самоуверенного голоса. Принимая игру, Крылов отрекомендовался “Иваном”, на что свеженазванная “Таня” тонко усмехнулась, отпивая из одноразового зыбкого стаканчика синтетический сок.

— Можете называть меня Ваней, тогда мы получимся в рифму, — предложил Крылов.

– Таня-Ваня? Детский сад, — пожала плечами женщина, неодобрительно глядя на пиццу, что брякнула перед нею на столик голенастая, в красных курточке и шортах, юная официантка. — Давайте лучше я угадаю вашу профессию.

– Преподаватель истории в колледже! — отрапортовал Крылов так быстро и громко, что теперь уже все официантки, изображающие, как это стало модно, спортивную команду, посмотрели на пару за дальним столом, а из подсобки высунулся толстый, с томатными губами, настороженный менеджер. — Еще по пицце с грибами! — крикнул им Крылов, и они немедленно успокоились. Менеджер уткнулся в кабинет, голенастая официантка, перепасовав коллеге твердый шнурованный мяч с эмблемой кафе, сунула в микроволновку две тарелки с плоскими заготовками.

– Сами будете есть, — сказала “Таня”, улыбаясь и хмурясь. — Мою профессию хотите узнать?

– Не очень. Лучше скажите — вы замужем?

– Замужем. А что, профессия не имеет значения?

– Да почти никакого. Тем более для женщины.

– Ждете, что я начну возмущаться? Не дождетесь.

– Обычно дамы на такую реплику начинают возражать. Особенно те, кто присутствует на службе в качестве мебели.

– Я присутствую на службе в качестве серой мыши. Закончила университет, а работаю по специальности, полученной на четырехмесячных курсах. Просто не повезло.

– Многим сейчас не везет. Телевизор – друг безработного.

– А вы не из каких-нибудь политических активистов? Они сумасшедшие и листовки суют на улицах совершенно безумные.

– Я похож на сумасшедшего?

– Вы немножко, извините, похожи на идейного.

– Нет, я, честное слово, не сумасшедший...

Чего Крылов впоследствии не мог понять, так это незаметного исчезновения так и не переданного Анфилову пакета со свитером. Когда он шел за незнакомкой по вокзальной площади, пакет был точно у него и глухо шмякал по ногам; после, в непрогретом парке, где на солнце был уже июнь, а в плотной тени пробирало майским холодком, Крылов хотел предложить озябшей женщине хотя бы набросить свитер на плечи, — но, кажется, пакет был в это время у “Тани”, и “Иван” постеснялся на него указать. Потом они гуляли по крутым аллеям, то и дело превращавшимся в бетонные, грубым гипсом запломбированные лестницы; раз наткнулись на гулкую сцену-ракушку, где под сипение аккордеона вальсировали, таская по доскам опухшие ноги, нарядные старухи, немного дальше их задержала плотная группа обритых юнцов и юниц, мерно хлопавших в ладоши и раздававших бесплатные постеры. Далее в неухоженных зарослях, свойственных скорее общественным уборным, обнаружился кинотеатрик,

симпатичный дешевизной билетов и какой-то трогательной старомодностью толстеньких колонн, над которыми белел плешивым кесарским затылком гипсовый герб С.С.С.Р. Однако фильм на ближайших сеансах оказался детский — старая анимация про Звездного Пирата, — и им обоим стало ясно, что ждать четыре часа до начала столь же старой комедии просто нестерпимо.

— Ну что ж, мы ведь оба взрослые люди, — сказала “Таня” сердитым, немного севшим голосом.

И вот тут уж точно не было никакого пакета — а может, они оставили его в расхлябанном такси, где целовались и задыхались, будто из салона откачивался воздух, и все время попадали в зеркальце заднего вида, которое то и дело поправлял, как бы сливая его содержимое, узкоплечий зализанный шофер. Квартира Анфилогова, где Крылов должен был только послезавтра покормить неприхотливых рыбок, встретила их дневным полумраком единственной комнаты, заложеной до потолка тысячами темных сросшихся томов; снаружи, за плотно сдвинутыми шторами, полными горячей солнечной краски, грузно когтила железо стая голубей, и узкая профессорская койка не была застелена бельем.

— В первый и последний раз, — хрипло прошептала “Таня”, и “Иван” тоже что-то шептал в ее горьковатое жаркое ухо, дергая на платье вязкую, никак не разнимавшуюся молнию.

